
П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

ЭСТЕТИКА
И ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА



МОСКВА
«ИСКУССТВО»
1984

Вяземский П. А.
В 99 Эстетика и литературная критика /Сост., вступ. статья и коммент. Л. В. Дерюгиной.— М.: Искусство, 1984.—458 с.—(История эстетики в памятниках и документах).

В сборник вошли литературно-критические и эстетические статьи и мемуарно-биографические очерки П. А. Вяземского /1792—1878/, главы из его монографии о Фонвизине, фрагменты из записных книжек и писем. Наибольшее внимание уделяется соотношению литературы и общественной жизни, национальному своеобразию литературы и искусства, борьбе литературных направлений первой половины XIX века. Большая часть материалов в советское время переиздается впервые.

• **0302060000-82**
В _____ **10-84**
025(01)-84

ББК 83.3Р1
8Р1

О «КАВКАЗСКОМ ПЛЕННИКЕ», ПОВЕСТИ.
СОЧ. А. ПУШКИНА

Неволя была, кажется, музою-вдохновительницею нашего времени. «Шильонский узник»¹ и «Кавказский пленник», следуя один за другим, пением унылым, но вразумительным сердцу прервали долгое молчание, царствовавшее на Парнасе нашем. Недавно сожалели мы о редком явлении прозаических творений², но едва ли и стихотворческие произведения не так же редко мелькают на поприще пустынной нашей словесности. Мы богаты именами поэтов, но бедны творениями. Эпоха, ознаменованная деятельностью Хераскова, Державина, Дмитриева, Карамзина, была гораздо плодороднее нашей. Слава их не пресекалась долгими промежутками, но росла постепенно и непрерывно. Ныне уже не существует постоянных сношений между современными поэтами и читателями: разумеется, говорим единственно о сношениях, основанных на взаимности, а не о тех насильственных и одиноких сношениях поэта, упорно осаждающего публику послылками, от коих она непреклонно отказывается. Явление упомянутых произведений, коими обязаны мы лучшим поэтам нашего времени, означает еще другое: успехи посреди нас поэзии романтической. На страх оскорбить присяжных приверженцев старой парнасской династии решились мы употребить название, еще для многих у нас дикое и почитаемое за хищническое и незаконное*. Мы согласны: отвергайте название, но признайте существование. Нельзя не почтеть за непоколебимую истину, что литература, как и все человеческое, подвержена изменениям; они многим из нас могут быть не по сердцу, но отрицать их невозможно или безрассудно. И ныне, кажется, настала эпоха подобного

* Противники поэзии романтической у нас устремляют в особенности удары свои на поражение некоторых слов, будто модных, будто новых. «Даль», «таинственная даль», «туманная даль» более прочих выражений возбуждает их классическое негодование. Так некогда слово «милое» было у некоторых опалено клеймом отвержения. Когда уверятся все эти немилые и недальние литераторы, что привязчивость к одним только словам была, есть и будет всегда (в литературе) любимым орудием и вернейшею вывескою ничтожности? Соч.

преобразования. Но вы, милостивые государи, называете новый род чудовищным потому, что почтеннейший Аристотель с преемниками вам ничего о нем не говорили. Прекрасно! Таким образом и ботаник должен почтить уродливое растение, найденное на неизвестной почве, потому, что ни Линней, ни Бомар не означили его примет; таким образом и географ признавать не должен существования островов, открытых великодушною и просвещенною щедростию Румянцова⁴, потому, что о них не упомянуто в землеописаниях, изданных за год до открытия. Такое рассуждение могло бы быть основательным, если б природа и гений, на смех вашим законам и границам, не следовали в творениях своих одним вдохновением смелой независимости и не сбивали ежедневно с места ваших *геркулесовых столпов*. Жалкая неудача! Вы водружаете их с такою важностию и с таким напряжением, а они разметывают их с такою легкостью и небрежностью! Во Франции еще понять можно причины войны, объявленной так называемому *романтическому роду*, и признать права его противников. Народная гордость, одна и без союза предубеждений, которые всегда стоят за бывалое, должна ополчиться на защиту славы, утвержденной отечественными писателями и угрожаемой ныне нашептанием чужеземных. Так называемые классики говорят: «Зачем принимать нам законы от Шекспиров, Бейронов, Шиллеров, когда мы имели своих Расинов, Вольтеров, Лагарпов, которые сами были законодателями иностранных словесностей и даровали языку нашему преимущество быть языком образованного света?» Но мы о чем хлопчем, кого отстаиваем? Имеем ли уже литературу отечественную, пустившую глубокие корни и ознаменованную многочисленными, превосходными плодами? До сей поры малое число хороших писателей успели только дать некоторый образ нашему языку; но образ литературы нашей еще не означился, не прорезался. Признаемся со смирением, но и с надеждою: есть язык русский, но нет еще словесности, достойного выражения народа могущего и мужественного! Что кинуло наш театр на узкую дорогу французской драматургии? Слабые и неудачные сколки Сумарокова с правильных, но бледных подлинников французской Мельпомены. Кроме Княжнина и Озерова какое дарование отличное запечатлело направление, данное Сумароковым? Для каждого, не ограниченного предубеждением, очевидно, что наш единственный трагик⁵ если не формами, то по крайней мере духом своей поэзии совершенно отчуждался от французской школы. Поприще

нашей литературы так еще просторно, что, не сбивая никого с места, можно предположить себе цель и беспрестанно к ней подвигаться. Нам нужны опыты, покушения: опасны нам не утраты, а опасен застой. И о чем сожалеют телохранители писателей заслуженных, которые в самом деле достойны были бы сожаления, когда бы слава их опиралась единственно на подобных защитников? Несмотря на то, что пора торжественных од миновалась, польза, принесенная Ломоносовым и в одном стихотворном отношении, не утратила прав на уважение и признательность. Достоинства хороших писателей не затмятся ни раблепными и вялыми последователями, ни отважными и пылкими указателями новых путей.

Автор повести «Кавказский пленник» (по примеру Бейрона в «Child-Harold»⁶⁾) хотел передать читателю впечатления, действовавшие на него в путешествии. *Описательная поэма, описательное послание* придают невольно утомительное однообразие рассказу. Автор на сцене представляет всегда какое-то принужденное и холодное лицо: между им и читателем выгоднее для взаимной пользы иметь посредника. Пушкин, созерцая высоты поэтического Кавказа, поражен был поэзией природы дикой, величественной, поэзией нравов и обыкновений народа грубого, но смелого, воинственного, красивого; и, как поэт, не мог пребыть в молчании, когда все говорило воображению его, душе и чувствованиям языком новым и сильным. Содержание настоящей повести просто и, может быть, слишком естественно: для читателя ее много занимательного в описании, но мало в действии. Жаль, что автор не приложил более изобретения в драматической части своей поэмы; она была бы полнее и оживленнее. Характер Пленника нов в поэзии нашей, но сознаться должно, что он не всегда выдержан и, так сказать, не твердою рукою дорисован; впрочем, достоинство его не умаляется от некоторого сходства с героем Бейрона. Британский поэт не воображению обязан характером, приданным его герою. Не входя в исследование мнения почти общего, что Бейрон себя списывал в изображении Child-Harold, утвердить можно, что подобные лица часто встречаются взору наблюдателя в нынешнем положении общества. Преизбыток силы, жизни внутренней, которая в честолюбивых потребностях своих не может удовлетворяться уступками внешней жизни, щедрой для одних умеренных желаний так называемого благоразумия; необходимые последствия подобной распри: волнение без цели, деятельность, пожирающая, не прикладываемая к

существенному; упования, никогда не совершаемые и вечно возникающие с новым стремлением — должны неминуемо посеять в душе тот неистребимый зародыш скуки, приторности, пресыщения, которые знаменуют характер *Child-Harold*, *Кавказского Пленника* и им подобных. Впрочем, повторяем: сей характер изображен во всей полноте в одном произведении Бейрона: у нашего поэта он только означен слегка; мы почти должны угадывать намерение автора и мысленно пополнять недоконченное в его творении. Не лишнее, однако же, притом заметить, что в самом том месте, где он знакомит нас с характером своего героя, встречаются пропуски, которые, может быть, и утаивают от нас многие черты, необходимые для совершеннейшего изображения. Сделаем еще одно замечание. Автор представляет героя своего равнодушным, охлажденным, но не бесчеловечным, и мы с неудовольствием видим, что он, избавленный от плена рукою страстной Черкешенки, которая после этого подвига приносит на жертву жизнь уже для нее без цели и с коею разорвала она последнюю связь, не посвящает памяти ее ни одной признательной мысли, ни одного сострадательного чувствования.

Прощальным взором
Объемлет он в последний раз
Пустой аул с его забором,
Поля, где пленный стадо пас,
Стремнины, где влачил оковы,
Ручей, где в полдень отдыхал,
Когда в горах черкес суровый
Свободы песню запевал.

Стихи хорошие, но не соответствующие естественному ожиданию читателя, коего живое участие в несчастном жребии Черкешенки служит осуждением забвению Пленника и автора⁷.

Лицо Черкешенки совершенно поэтическое. В ней есть какая-то неопределимость, очаровательность. Явление ее, конец — все представляется тайною. Мы знаем о ней только одно, что она любила, — и довольны. И подлинно: жребий, добродетели, страдания, радости женщины, обязанности ее не могут ли заключаться все в этом чувстве? По моему мнению, женщина, которая любила, совершила на земле свое предназначение и жила в полном значении этого слова. Спешу пояснить строгим толкователям, что и слово «любить» приемлется здесь в чистом, нравственном и строгом значении своем. Кстати о строгих толкователях или, правильнее, *перетолкователях* заметим, что, может быть, они поморщатся и от нового произведения поэта

пылкого и кипящего жизнью. Пустая их мертвая оледенелость не уживается с горячностью дарования во цвете юности и силы, но мы, с своей стороны, уговаривать будем поэта следовать независимым вдохновениям своей поэтической Эгерии, в полном уверении, что бдительная цензура, которой нельзя упрекнуть у нас в потворстве, умеет и без помощи посторонней удерживать писателей в пределах дозволенного. Впрочем, увещание наше излишне: как истинной чести двуличною быть нельзя, так и дарование возвышенное двуязычным быть не может. В непреклонной и благородной независимости оно умело бы предпочесть молчание языку заказному, выражению обуюдному и холодному мнений неубедительных, ибо источник их не есть внутреннее убеждение.

Все, что принадлежит до живописи в настоящей повести, превосходно. Автор наблюдал как поэт и передает читателю свои наблюдения в самых поэтических красках. Поэзия в этом отношении не исключает верности, а, напротив, придает ее описанию: ничего нет живее мертвого и, так сказать, буквального изображения того, что исполнено жизни и души. В подражательных творениях искусства чем более обмана, тем более истины. Стихосложение в «Кавказском пленнике» отличное. Можно, кажется, утвердить, что в целой повести нет ни одного вялого, нестройного стиха. Все дышит свежестью, все кипит живостью необыкновенною. Автор ее и в ранних опытах еще отроческого дарования уже поражал нас силою и мастерством своего языка стихотворного; впоследствии подвигался он быстро от усовершенствования к усовершенствованию и ныне являет нам степень зрелости совершенной. С жадною поспешностию и признательностию вписываем в книгу литературных упований обещание поэта рассказать *Мстислава древний поединок*⁸. Слишком долго поэзия русская чуждалась природных своих источников и почерпала в посторонних родниках жизнь заемную, в коей оказывалось одно искусство, но не отзывалось чувству биение чего-то родного и близкого. Ожидая с нетерпением давно обещанной поэмы Владимира⁹, который и после Хераскова еще ожидает себе песнопевца, желаем, чтобы молодой поэт, столь удачно последовавший знаменитому предшественнику в искусстве создать и присвоить себе язык стихотворный, не заставил нас, как и он, жаловаться на давно просроченные обязательства!